Сорочку с Морозовой сдернули до сосков. И обвязали рукавами боярыню, чтобы не упала сорочка. Морозова молча провисела на дыбе полчаса. Потом трех женщин с вывихнутыми руками положили голыми спинами на снег, груди мерзлыми плахами придавили, пугали, что огнем жечь будут...

Марию бросили к ногам Феодосьи и Евдокии и били плетью по спине и животу.

Думный дьяк Иларион угрожал:

— Не покоритесь, и вам такое же будет.

Глядя на льющуюся кровь, Морозова сказала:

— И это христианство — так мучить человека?

На другой день царь собрал совет — решать, что делать с женщинами. На Болоте, в топком месте за рекой Москвой против Кремля, уже поставили сруб, чтобы сжечь мятежниц. Об этом просил патриарх, но бояре «не потянули». Рука не поднялась на женщин, носивших громкие родовые имена. Всего шестнадцать в России было таких знатных боярских фамилий: Воротынские, Черкасские, Трубецкие, Голицыны, Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Хованские, Шереметевы, Морозовы и Урусовы.

Было ли так, не было, но прислал будто бы царь к боярыне голову стрелецкого со словами: «Мать праведная Феодосия Прокопьевна! Молю тебя, послушайся моего совета. Хочу вернуть тебе прежнюю твою честь. Откажись от своего, приличия людского ради... Послушай, я пришлю за тобой повозку свою с аргамаками своими, и придут многие бояре и понесут тебя на головах своих. Послушай, мать праведная, я, царь, склоняю голову свою, сделай это!»

И будто бы ответила боярыня царскому посланнику:

«Что творишь, человек? Почему кланяешься мне? Перестань, послушай меня лучше. Государю говорить такие слова — выше моего достоинства. Грешница я... А от древнего предания не откажусь. Повозкой своей меня почтить

хочет, аргамаками — никакое это для меня не величие, было это все у меня и мимо прошло. Величием поистине дивным считаю я, если сподобит меня бог быть сожженной, во имя его в срубе на Болоте: вот это слава моя...»

19 апреля 1673 года скончался патриарх Питирим. Его сменил Иоаким, ревностный, суровый.

После кончины Питирима царь повелел перевести Морозову в Новодевичий монастырь. Это было летом 1673 года, потому что «вельможные жены» приезжали в монастырь понаблюдать «крепкое терпение» боярыни в «рыдванах и коретах». Царя это сердило, он приказал перевести ее в Хамовную слободу и поселить у старосты на дворе.

Старшая сестра царя Ирина Михайловна попеняла Алексею Михайловичу:

— Почто, брат, некрасиво поступаешь и вдову бедную помыкаешь с места на место. Достойно было бы помнить заслуги Бориса и брата его Глеба.

— Добро, сестрица, добро! — прорычал царь. — Коли ты печешься о ней, найдется у меня ей место!

•

Этим местом был Боровск, в который сослали то ли в конце 1673, то ли в начале 1674 года боярыню Морозову и ее подруг.

В Боровском остроге, в земляной тюрьме, уже сидела одна из аввакумских сторонниц — Иустина. Место было глухое. Так и не удалось Морозовой добиться публичной казни, умереть на людях, мученически. Именно этого царь и не хотел — боялся ропота и жалости народной. Спрятав Морозову в Боровский острог, он обрек ее на долгое умирание, но лишить боярыню бессмертия в памяти людей оказался не в силах.

После Москвы в Боровском остроге было вольно. Сторонники Морозовой «ухлебливали» сотников, командовавших караулом, посещали узниц, переправляли письма от них и к ним. Не одно письмо написал им из своего пустозерского заключения Аввакум.

Помогали и боровитяне.

Но не прошло и года, как «лукавый возмутил начальников». Прислан был указ разыскать, кто ходит к узницам и каким образом. Так схватили боровитянина Памфила и стали пытать. А у него в это время Родион, племянник полковника Данилова, под полом в доме прятался. Никого не выдал Памфил под пыткой, и его отпустили. Придя домой и унимая бегущую из ран кровь, он сказал жене:

— Агриппина, ныне хорошо стало, свободно... Отнеси-ка ты нашим в острог луку печеного решето.

И опять оставили узниц в покое, если можно считать «покоем» то, что пережила в это время Евдокия Урусова. Мужа ее, царского кравчего князя Петра Семеновича Урусова, решили развести с ней и женить на молодой Степаниде Строгановой. А ведь у Евдокии с Петром было трое детей — Василий, Настасья и Евдокия. Нежно любила их княгиня и, страдая от мужниной нестойкости, часто писала им письма.

Эти письма сохранились. Их нельзя читать без волнения. Сын Васенька уж и сам был царским стольником и вел жизнь беспечную...

«Ох, мой любезный Васенка, — писала сыну Урусова, — не видишь ты моего лица плачевного и не слышишь моего рыдания слезного, не слышишь, как рыдает сердце мое о тебе и душа моя сокрушаетца... Да молю у тебя, Васенка, буди ты ласков к сестрам и утешай их и слушай во всем их, что ане станут тебе говорить, и ты слушай во всем, любезной мой, и не печаль их, веть у них у сирых и радости, что ты един... Да еще у тебя прошу, любезной мой, не презри ты моего моления, не пей ты вина, не опечаль ты душу мою, не пей вина и ничего хмельного не пей, любезной мой, помни, свет, кто вино пьет, тот не наследит царствия небесного, пьяницам мука сотворяна...»

И письма к дочерям похожи на песни.

«Светы мои, две ластовицы златокрылыя; о, мои светы возлюбленные, две горлицы пустынные; ох, светы мои любезные, две сироты бесприютные, не имеете х кому прекло-

нити главу свою сирою... Носила вас, светов своих, во утробе своей и радовалась и родила вас, светов своих, забыла болезнь свою матерню, возрадовалася вашему рождению, глаза мои грешные на вас не нагляделися и сердце мое вами не нарадовалось».

Это к дочерям Урусовой писал потом Аввакум:

«Слушайте-тко, Евдокея и Настасьюшка, — где вы не будете, а живите так, как мать и тетка жили: две сестрицы здесь неразлучно жили, и в будущий век купно пошли...»

А вот уж и край жизни матери и тетки — Евдокии Урусовой и Феодосьи Морозовой.

Тотчас после пасхи в 1675 году, в апреле месяце, нагрянули в Боровск «старой» подьячий Павел да еще двое молодых. Обыскали всю тюрьму, «пограбили» узниц, отняли одежду, съестное, иконы. Перешерстили караул. Сотников, занимавшихся попустительством, выпороли, а одного, самого виноватого, отправили в ссылку. И это бы еще ничего...

В июле думный дьяк Стрелецкого приказа Иларион Иванов прислал в Боровск дьяка Федора Кузмищева с большими полномочиями — «казнить, четвертовать и вешать, а иных... к Москве присылать, а иных велено, которые сидят не в больших делах, бивши кнутом, выпущать на чистые поруки... для того, что в тюрьме в Боровске сидельцов умножилось много».

Начались казни. Четырнадцать человек сжег в срубах дьяк Кузмищев, и среди них — инокиню Иустину и слугу боярыни Ивана. Для Морозовой и Урусовой были вырыты пятисаженные ямы, а Данилову посадили в тюрьму, «где злодеи седят», к уголовникам, если говорить по-современному.

Уморить голодом в студеных ямах — таков был приказ, и он исполнялся неукоснительно. Сидели сестры «во тьме несветимой», страдали от «задухи земныя», от спертого воздуха, от расплодившихся вшей. Их тошнило, они не спали ни ночью, ни днем. Давали им только воду, а если

доставалось несколько сухарей, то воды не давали, чтобы томить жаждой. Иногда перепадало яблоко-другое или огурец, но это уже стрельцы караульные из жалости подкидывали.

11 сентября скончалась Евдокия Урусова. Боярыня Морозова позвала стрельца, тот спустил веревку. Она сама обвязала ею тело сестры, и стрелец вытащил покойницу из ямы. Тело закопали в остроге.

Царь прислал монаха в последний раз уговаривать Морозову покориться. Но она была непреклонна.

В ночь с первого на второе ноября 1675 года боярыня Морозова скончалась. Перед смертью она просила у стрельца дать ей калачика.

— Ни, госпожа, боюся, — ответил стрелец.

— Хлебца...

— Не смею.

И вот последняя ее просьба.

— Мать у тебя есть? Женщина же родила тебя, и ради этого молю — побойся бога: я женщина, и надо мне сорочку постирать. А ты сам видишь, самой мне это сделать невозможно, на цепи я, и слуг при мне нет. Сходи на реку и постирай мою сорочку. Призывает меня господь, и неподобно мне, телу этому, в нечистой одежде лежать в недрах матери земли.

Бросила Морозова стрельцу сорочку, и он, спрятав ее под полой и глотая слезы, пошел стирать к Протве...

Первого декабря умерла тоже переведенная в яму Мария Данилова.

Велено было сестер «внутри острога в землю закопати», обернув в рогожу.

Чуть позже на могиле появилась плита с надписью:

«Лета 7183/1675/ погребены на сем месте сентября во 11-й день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его — княгиня Евдокея Прокофьевна да ноября во 2-й день боярина Глеба жена Ивановича Морозова боярыня Феодосия Прокофьевна, а во иноце/х/ инока Феодора, а дочери обе

окольничего Прокофия Феодоровича Соковнина а сию ЦКУ (доску. — *Д. Ж.*) положили на сестрах своих родны/х/ боярин Федор Прокофьевич да окольничей Алексей Прокофьевич Соковнины.

54

«Бесчеловечен человек».

Есть у Аввакума такое словосочетание. Вынутое из фразы, оно звучит страшно. От него веет жестокостью, бесжалостностью массовых казней. Не был кроток и сам Аввакум. «Дайте только срок, собаки, — грозил он своим врагам, — не уйдете у меня... Яко будете у меня в руках: выдавлю из вас сок-от!»

Гневлив и несдержан бывал протопоп. Но как он умел утешить и поднять человека в трудную минуту! И голос, наверно, у него становился другой, тихий и ласковый. «Язык мой короток, не досяжет вашей доброты и красоты; ум мой не обымет подвига вашего и страдания. Подумаю да лишь руками взмахну!» — писал он Морозовой и ее сестре.

«Свет моя! Еще ли ты дышишь? Друг мой сердечной! Еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя?»

В страшных условиях жили и сами пустозерские узники. Холодные каморки их заливала вода, прела одежда, по всему телу рассыпались гнойные язвы. И все-таки Аввакум находил в себе силы иронизировать: «Покой большой у меня и у старца (Епифания. — *Д. Ж.*)... где пьем и ядим, тут, прости бога ради, и лайно испражняем, да складше на лопату, да и в окошко!.. Мне видится, и у царя Алексея Михайловича нет такого покоя».

Больные, а трое с отрубленными языками и с покалеченными руками, они не сдавались, выползали из своих нор, разговаривали и спорили, а возвращаясь к себе, думали и при неверном свете лучины, положив на колено дощечку с бумагой, писали, писали, писали...

Разные люди были эти знаменитые пустозерские узники.

Вот Лазарь-гуляка, которому тесна бывала тобольская улица, когда он возвращался в подпитии. Он как и прежде подшучивал над всеми и удивительно выучился артикулировать обрубленным языком. Аввакум диву давался.

— Щупай, протопоп, — сказал ему Лазарь. — Забей руку в горло, не откушу!

— Чево щупать? На улице язык бросили.

— Собаки они, вражьи дети! Пускай мои едят языки, — ругнулся Лазарь и показал тупой обрубок.

Его жена Домница, жившая в Пустозерске в своем дворе, верно, уж не забывала тяги муженька к спиртному и, подкупая стражу, снабжала его белым вином.

Федор был человек иного склада. Педантичный и очень трудолюбивый. В Пустозерске он написал несколько книг, из которых лучшим сочинением было «Послание к сыну Максиму». С Аввакумом они не ладили. Едва ли не сразу же возник у них догматический спор о сущности троицы. В этом споре Федор был более логичен, а Аввакум горяч и смел в своих доводах. Протопоп писал Морозовой, Урусовой и Даниловой: «Молодой щененок, Федор дьякон, сын духовной мне, учал блудить над старыми книгами... Буди он проклят, враг божий».

Большой знаток христианской догматики, Федор отстаивал принцип нераздельности «святой троицы», что соответствовало взглядам как дониконовской, так и никоновской церкви. Аввакум, которого поддерживал Лазарь, яростно нападал на этот принцип, обвиняя Федора в ересничестве. Но еретиком, с православной точки зрения, был именно Аввакум.

«Несекомую — секи! Небось, — по равенству, — едино на три существа и естества... Три цари небесные».

Препирались они неистово.

— Федька, — вопрошал Аввакум, — по-твоему, кучею надобно? Едино лице?

— Я исповедую, — твердил Федор, — святую троицу, единопрестольную, единосущную и нераздельную... Три

лица в едином божестве и едино божество в трех ипостасях совокупно...

— Троица рядком сидит! — вопил Лазарь. — Сын одесную, а дух святой ошую отца на небеси. Как царь с детьми, сидит Бог отец, а Христос на четвертом престоле особом сидит пред отцом небесным...

Но Федора это приводило в ужас, и тогда Аввакум разражался ругательствами:

— Ведь ты дурак, Федор! Гордой пес, поганец, еретик! Сидит Бог и человек на престоле своем царском, и ты, дитятко бешеное, не замай его, не пихай поганым своим языком с престола, собака...

Спорили они так, будто от них и в самом деле зависело, быть или не быть Христу на троне.

Полемика их вышла далеко за пределы пустозерской земляной тюрьмы. Письмо за письмом посылали они верным, доказывая каждый свою точку зрения. Аввакум проклял Федора, а своим сторонникам на воле излагал дело так, что дьякона исключили из числа «начальных отцов». Федор страдал — на Москве власти проклинают его за старую веру, и здесь друзья проклинают за несогласие в вере же. Он взялся за перо, долго трудился и о своих разногласиях с Аввакумом составил «книжицу не малу, листов с полтораста». Отношения стали настолько напряженными, что Аввакум, если верить Федору, в своей горячности потерял чувство меры и поступал не лучше их общих врагов.

«Некогда в полночь, — писал Федор, — выходил я из ямы вон окном, как и Аввакум, в тын, и посещал прочую братию вне ограды. Сотник же, Андрей именем (стрелецкий сотник Андрей Чупреянов был начальником караула в Пустозерске в 1675 — 77 годах. — *Д. Ж.*), враг был, мздоимец, и на меня гнев имел за некое обличение. И в то время велел меня ухватить стрельцам в тыну, нагого... И начали меня бить зело без милости... И посем, руки мои связав, к стене привязали и знобили на снегу часа два. А друзья мои смотрели на меня и смеялись! А стрельцы влезли в мою

темницу, по благословению протопопову, те книжицы и выписки мои похитили и ему продали. И он из тех книжиц моих листка с три токмо выдрал лукавно и те листки послал на Русь братиям нашим, перепортя писание мое, чтобы меня обвиняли, а его бы учение оправдали...»

Свои рассуждения о троице и других догматах Аввакум излагал в письмах и Симеону — «Сименушке», ставшему в иноках старцем Сергием, известному впоследствии своим участием в старообрядческой смуте 1682 года. Это был старый друг и земляк Аввакума «посадский человек Сенька, Иванов сын, Крашенинников». Потом Федор заново написал свою «книжицу», Вместе с описанием обстоятельств ссоры с Аввакумом она была отправлена к сыну Максиму и друзьям в Москву и сильно поколебала авторитет Аввакума.

Неистовый бунт против церковной догматики известный оратор и публицист митрополит Димитрий Ростовский через двадцать семь лет после смерти Аввакума назвал «мужичьим умствованием», опровержением евангелия, не старой верой, а «новым мудрованьем». Впоследствии исследователи объясняли еретичество Аввакума полемической увлеченностью и неумением точно выразить отвлеченные богословские положения.

Но, как бы там ни было, взгляды Аввакума смутили самих раскольников, сошедшихся впоследствии даже на собор, где обсуждались полученные от самого отца Сергия письма Аввакума. Собор кончился свалкой, кто-то крикнул: «Стреляй!», и все разбежались. Сторонников у аввакумовской «новизны» оказалось немного, и о ней старообрядцы старались больше не упоминать.

Самым близким другом и духовным отцом Аввакума был мягкий и простодушный старец Епифаний, но и ему не по сердцу пришлись «ярость великая и вопль» протопопа по поводу догматов. Федор не преминул искать поддержки старца. «Старец же прост человек, — писал Аввакум, — правду чаял шептание его и напал на меня по ево учению

всеми силами». И хотя протопоп привык «от купели троицу чести в трех образах, а не единицу жидовскую», поступился он ради дружбы с Епифанием своей совестью и пошел ночью в землянку к Федору мириться. Дьякон наставлял его, а он, затая гнев, только «помикивал».

Но гнев все равно прорвало. «Не до дружка стало — до своего брюшка». Пошел Аввакум «косить» и старца. Это был гнев отчаяния. Молва о том, что Аввакум пишет по-еретически, ширилась и докатилась уже до Пустозерска. Та же горечь, что некогда съедала Федора, теперь грызла и Аввакума. «Никониане еретиком зовут, дети духовные еретиком же зовут!» Это был вопль упрямой души...

Случилось это уже году в 1678. По легенде, помирились будто бы перед смертью Аввакум с Федором, и немалую роль сыграл в этом, наверно, старец Епифаний.

55

Дружба Аввакума и Епифания трогательна и удивительна. С самого начала, с первой же встречи в Москве, глубоко уважал старца Аввакум, заботился о нем, едва ли не в каждом письме упоминал о нем с благодарностью.

Сперва, когда в Пустозерске им жилось сравнительно легко, Аввакум и Епифаний подолгу рассказывали друг другу о своей жизни. После казней узники продолжали встречаться, переползая из землянки в землянку под покровом темноты или пользуясь попустительством сочувствовавших им стражников. В этом общении родилась постепенно «Книга бесед», а потом «Житие» и другие произведения Аввакума.

Епифаний был довольно опытным писателем, уже один раз положившим на бумагу свое житие. Он-то и «понудил» Аввакума написать книгу.

В рассказах Аввакума о его приключениях и злоключениях оживала едва ли не вся русская земля — и Поволжье, и Север, и Сибирь; сотни и сотни людей всех званий и со-

стояний страдали и радовались, боролись и покорно несли свой крест... В мокрых, погребенных под землей срубах воспоминания о вольной жизни горели ярким пламенем, слова лились свободно.

Немало «житий» прочел на своем веку Аввакум. Но большая их часть написана была каким-то мертвым, нескладным языком, не тем богатым, сочным языком, на котором изъяснялись русские люди.

«Не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить...» — напишет он впоследствии во вступлении к своему «Житию».

«Я не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русского...»

Аввакум не заботился об изысканности, презирал напыщенную трескотню придворных графоманов. «По нужде ворчу, понеже докучают. А как бы не спрашивали, я бы молчал больше».

Литература не была для него ни профессиональным занятием, ни средством удовлетворения честолюбия. Борец, он видел в литературе лишь иной род оружия. Не окажись Аввакум в земляной тюрьме, он, возможно, ограничил бы свою деятельность лишь огненными проповедями да еще письмами. А теперь он вынужден был писать более пространно и творил так же талантливо и страстно, как делал в жизни все. И вроде бы «само» получалось у этого мужицкого писателя, который речь свою называл «вяканьем», а литературную работу «ковыряньем».

И хотя все было рассказано Епифанию за несколько полярных ночей, говорено обо всем переговорено, взявшись за перо, Аввакум задумался, о чем писать. Пестра жизнь, а сказать людям надо главное, чтобы не отвлекать их мысль в сторону, чтобы была книга как вопль в ночи, а не жалобное стенание...

«Стану сказывать верхи своим бедам», — решил Аввакум.

Считается, что Аввакум начал писать свое «Житие» еще в 1669 году, до приезда в Пустозерск Елагина и введения тюремных строгостей. Однако известны еще три редакции «Жития», написанные Аввакумом с 1672 по 1675 год. Сохранились подлинные рукописи двух из них. Подлинники и списки с двух других редакций дают представление, как работал Аввакум, как он совершенствовал свое знаменитое произведение, как шлифовал фразы и отбирал эпизоды, как перешел он от мемуарного повествования к сюжетному...

Полемика и поучения, ради чего и задумана была автобиография, как-то не укладывались в русло жизни, которая упруго билась и теснила их к берегам, на края, в начала и концы... «Простите меня... А однако уже розвякался — еще вам повесть скажу».

Не соврать бы, всю правду сказать. И такой он был, Аввакум, и сякой, всякий, непростой. Не ведал Аввакум, что назовут его писание «первым опытом законченного психологического автопортрета в древней русской литературе», «многофигурной бытовой автобиографической повестью, тяготеющей в значительной мере к большой форме романа».

Редко-редко найдешь в «Житии» эпизоды, которые бы ныне не подтверждались документами. Не преувеличивал, не приукрашивал ничего Аввакум. Не часто подводила его память. Но дело даже не в том, точен или не точен был Аввакум. Не хронику он писал. Дело в том, как он изображал себя и других.

Действительность для Аввакума была чем-то суетным, преходящим. Но в ней человек проходил испытание. Выдержавшему давалось истинное и вечное. Однако до чего же он был привязан к этой суетной жизни, с каким достоинством шагал по ней, как стойко переносил страдания! И не любовался ими, как авторы многих житий, якобы испытывавшие к боли прямо-таки сладострастное влечение. Противоречивый человек был Аввакум — у него найдешь и пространное описание, как постились узники в Пустозерс-

ке, десятки дней не принимали пищи, лишь полоскали рот квасом, а вот он радуется, что досталось ему «хлепца немношко» и удалось «штец похлебать».

Всему свое время. Время непреклонности и время уступчивости. Время жестокости и время нежности. Время злословию и время шутке. Всему человеческому отдал дань Аввакум и не постыдился этого человеческого. Сказал своим читателям — судите сами. Он доверял им, и это доверие есть проявление величайшего уважения к человеческой личности, вера в то, что всякий человек сложен и умен.

Чередой возникали в памяти его Неронов, Никон, Ртищев, Пашков, юродивый Федор... И еще многие. Одних он любил, других ненавидел. Но никому не мог отказать Аввакум в человечности. На что Пашков злодей был, а и то мучился и сомневался. Победить врага злого да глупого — себе чести мало. А сам-то он, Аввакум, всегда ли добр бывал даже к близким своим?

Даже к самому близкому человеку, к жене, к Марковне своей, что ныне с сыновьями Иваном и Прокопием на Мезени в земле закопана сидит? Не бывал ли он груб с ней, не попадалась ли она ему под горячую руку? Ох, горе! Страдалица безропотная, подруга верная, мать хлопотливая... В ноги кланяется он ей и всем заказывает — помните вечно, какова Марковна!

А дети? Какая им выпала доля, горемыкам? А сколько детей духовных показнили? Федор юродивый, удавленный палачами на Мезени... Вспомнил его еще раз Аввакум и написал: «Не на баснях проходил подвиг, не как я, окаянный...» Собственный труд казался ему незначительным. Смерть кругом, смерть!

«Выпросил у бога светлую Росию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою».

Безобразна и греховна жизнь! Кричать хочется.

А как сказать главное? Тянет в стороны повествование, того и гляди все рассыплется. Но отсекает безжалостно

Аввакум сучья, чтобы ствол прямее был, да что делать — разве все отсечешь?

Благословения надо у отца духовного Епифания просить. Напишет Аввакум кусок и просит стрельца, что подобрее, отнести в земляную яму к старцу — пусть рассудит тот. Вот написал он, как, возвращаясь из-за Байкала, спас пашковского «замотая». Как завалил его пожитками, а сверху Марковну с дочерью положил. Как казакам лгал. Сильно ли он согрешил тогда? «Припиши же что-нибудь, старец».

И Епифаний приписывает: «Бог да простит тя и благословит в сем веце и в будущем, и подружию твою Анастасию и дщерь вашу, и весь дом ваш. Добро сотворили есте и правильно. Аминь».

Получив через стрельца же рукопись обратно, Аввакум пишет: «Добро, старец, спаси бог на милостыни! Полно тово» — и продолжает свой рассказ о возвращении из ссылки. Удивительна эта рукопись, как бы хранящая тепло рук и дыхания двух человек, которые в зловонных своих ямах не ожесточились, не потеряли способности мыслить возвышенно...

Иной раз Епифаний редактировал Аввакума: заклеивал текст бумажкой и сверху писал свое. Епифаний был не лучшим из редакторов. Коробила его литературная смелость Аввакума, благообразней хотелось ему написать, а получалось бледно и невыразительно.

Все рукописи Аввакума проходили через руки Епифания, который был искусник во всяких поделках. Он сделал «ящичек» не только в топорище бердыша, с которым стрелец отправился в Москву. Такие же тайнички для писем вырезал он и в деревянных крестах, которые изготавливал для московских почитателей пустозерских узников. Передавали их стрельцы, получая от москвичей приличную мзду.

Рукописи своего и аввакумовского «Житий» Епифаний аккуратно сшивал, делал переплеты из обтянутых оленьей замшей деревянных дощечек, изготавливал из кусочков меди петли для застежек и окрашивал киноварью обрезы книг.

Эти книги тоже тайно проносились в Москву и другие русские города, там их переписывали усердные грамотеи. И подлинники и списки берегли как зеницу ока, читали и перечитывали и сохранили до наших дней.

Больше восьмидесяти сочинений написал за свою жизнь Аввакум. И всюду — в «Книге бесед», в «Книге толкований», в «Книге обличений», в письмах, челобитных, посланиях — он всякий раз говорит о себе и о других что-нибудь новое. У него нет времени на повторения.

В своих сочинениях Аввакум часто ссылался по памяти на книги, которые читал в недолгие годы своей вольной жизни. В пустозерской тюрьме узники почти не читали книг. Лазарь писал царю: «Книг, государь, нам не дают лет больше десяти, а в печали у нас память губится».

Удивительная была память у Аввакума. По «Житию» и посланиям его видно, что читал он прежде притчи Эзопа, «Историю Иудейской войны» Флавия, «Повесть о Белом Клобуке», «Сказания о Флорентийском соборе», «Физиолог», «Сказания о падении Византии», десятки исторических повестей, сотни богословских и полемических сочинений. И по памяти цитировал их, ошибаясь, конечно же, но не в сути...

Особенно хорошо знал Аввакум апокрифическую литературу и легенды, отодвинутые впоследствии каноническими текстами в небытие. С этой литературой связано было и народное «самосмышление», проникнутое идеями равенства всех перед Богом и природой, справедливости и духовной свободы, дающей жизнь творчеству. Легенды, духовные стихи, апокрифы не только питали Аввакума идеями, но и еще теснее приобщали его к народной словесной культуре...

56

Писания пустозерских узников попадали и в восставший Соловецкий монастырь. Воевода Мещеринов и близко не мог подойти к стенам со своим тысячным войском. Лихой

монах Никанор, с которым переписывался протопоп, ходил по стенам, кропил голландские пушки и приговаривал:

— Матушки мои галаночки, надеемся на вас, что вы нас обороните.

А пушкарям наказывал стрелять по воеводе.

— Поразишь пастыря, ратные люди разбредутся аки овцы.

Крестьяне, посадские люди, казаки потеснили монахов и дрались со стрельцами упорно, зло. Сосланные сюда ученики Аввакума бились бок о бок с подельниками Степана Разина (в свое время ходившего на богомолье в Соловецкий монастырь). Окрестные крестьяне помогали осажденным чем могли...

Так бы и отсиделись, если бы не перебежал в стан осаждающих чернец Феоктист, показавший под сушилом у Белой башни закладенное камнями окно. Ночью Мещеринов проник в крепость, перебил сонных защитников и повесил монаха Никанора...

57

В январе 1676 года, вскоре после казни соловецких повстанцев, умер царь Алексей Михайлович. Новый царь Федор Алексеевич повелел перевести пустозерских узников в мрачные тюрьмы Спасо-Каменного и Кожеозерского монастырей, где их ждала участь боярыни Морозовой. По какой-то причине перевод не состоялся, но остался в силе приказ воеводе Львову накрепко и неотступно следить за Аввакумом с товарищами, никого решительно не допускать к ним для разговоров, не давать им чернил и бумаги, «писем бы никаких у них никто не имел».

И все-таки оживленная переписка между Аввакумом и множеством его приверженцев на воле продолжалась. О чем только не писал Аввакум, каких только дел не затрагивал, и, уж конечно, высказывал свое отношение к покойному царю.